**Саша Николаенко, г. Москва**

Жили-были

Жили-были старик со старухой, на улице Героев Панфиловцев, во дворах, где магазин «38 копеек». Они жили в хорошем кирпичном гараже на фунда­менте, у них там стоял раскладной диван, обогрева­тель старой модели «Юность», мебель: письмен­ный стол и два стула, и старик (из экономии элек­тричества) еще выложил кривенькую буржуйку, в которой старуха пекла голубей и картошку, грела чай и варила макароны и гречку. Иногда старик приносил из контейнера за магазином банку тушен­ки или еще что-нибудь хорошее, но потом админи­страция магазина стала вешать на контейнер замок, и пришлось обходиться так, без хорошего. Раньше, когда они еще жили в квартире, на пятом этаже, по той же улице (еще при Ванечке), они жили лучше, а теперь жили вот так, потому что эту квартиру ста­рик, по своим пьяным делам (уже после Ванечки), подписал на чужих людей. И их за это выгнали из нее по закону судебные приставы. Старуха была ра­ботящая женщина, изобретательная. Она нарисо­вала на стене гаража голубой эмалью окно и белой — на окне раму, вбила как-то в кирпичи два гвоздя и повесила занавески (очень красиво получилось, она была по образованию художница), и еще пове­сила над диваном Ванечкины фото в рамочках. И она мыла пол в их гараже, вытряхивала коврик, протирала пыль с мебели и вообще наводила на жизнь уют. Они прожили так, с божьей помощью, три зимы и три лета, а потом старуха простудилась зимой у ворот Всехсвятского, легла на диван, за­крылась до подбородка шубами и еще какими-то тряпками (у нее были две шубы и тряпки) и стала умирать. И вот приходит старик в тот день, в девя­том часу с работы — он работал в подземном пере­ходе на ту сторону Героев Панфиловцев, играл на баяне полонез Огинского и «На сопках Манчжу­рии»; получал хорошие деньги. Но был человек сла­бый и от этого горький пьяница, и почти весь его заработок уходил на эту гадость, а еще же подоро­жал со временем хлеб, и приходилось платить еже­месячный взнос в гаражное товарищество и за электричество. Он вернулся и видит: в гараже не убрано и на буржуйке ничего не варится. А старуха лежит плашмя под шубами и ничего не говорит, только смотрит. Он сообразил, что у старухи при­ступ (такое с ней и прежде случалось, но они утеша­лись тем, что у нее, у старухи, вероятно, в желчном пузыре камни или еще какая-нибудь болезнь, и при­ступы проходили, хотя по приступам старуха гром­ко стонала, вертелась и не могла уснуть). Но тут она и не стонала даже, а только лежала и смотрела в по­толок, где желтое пятно света от лампочки. Старик взял это дело в свои руки, лекарство было одно, и он налил его себе и ей в пластиковые стаканчики, и кое-как приподнял больную на валик (она была у него тяжелая старуха, большая), и хотел ей влить лекарство, но старуха сжала губы и только смотрела на него пыльными грустными глазами. Он выпил сам, и дальше не знал, что делать, но только присел к своей старухе на краешек, и они оба помолчали. И она смотрела на желтое пятнышко света, где лам­па, и лежала под шубами. Ее, может быть, нужно было по скорой в районную 67-ю больницу, но кто же возьмет старуху без медицинского полиса, реги­страции и прописки в 67-ю районную? «Без про­писки и регистрации, — как сама она говорила, — Саня, только на небеса». Он выпил еще, и еще не­много налил, и, когда оставалось на донышке, вдруг сообразил, как перехитрить эти самые небеса и устроить старуху на лечение в 67-ю больницу. Он укутал старуху потеплее, кулем повалил на санки (она все молчала) и повез мимо 34-го детского сади­ка, через дорогу и бульвар в направлении этой боль­ницы. Он решил привезти старуху к приемному от­делению и, оставив на санках, постучать в двери, а самому спрятаться. А там ее, мол, возьмут, навер­ное, пока и без регистрации, потому что там они не могут не взять до выяснения паспортных данных и адреса (вдруг старуха все же где-то прописана и имеет медицинскую карточку?). И он вез свою старуху по спящему зимнему городу, и волок ее по асфальту, где было дворниками насыпано солью от наледи, и вздыхал, потому что он был человек сла­бый и горький пьяница, а старуха тяжелая, а она все сжимала губы и смотрела старику в спину. На­конец они добрались до ворот 67-й районной больницы, но они были заперты, и калитка тоже, а охранник центрального входа пил в подсобном помещении с товарищем, а там, где въезжали ско­рые помощи, охранник не спал и, конечно, их не пустил бы. Старик поволок свою старуху дальше, и забор, вдоль которого он волок ее, был высокий, бетонный, и непонятно зачем обтянутый сверху ко­лючей проволокой. Никогда не думал старик, что у этой 67-й больницы такая огромная территория, и кое-где в выщерблинах забора сквозь ржавые прутья каркасов видел старик много зданий и кор­пусов 67-й с погашенными уже, по позднему време­ни, окнами. Было тихо. Стоял высокий, густой и си­ний мороз. Изо рта старика вырывался горячий пар, старуха все не разжимала губ. Наверное, про­шло много времени, как старик тащил старуху вдоль этой ограды районной больницы, как вдруг в забо­ре открылась ему наконец большая дыра, без карка­са, с выбитым точно огромным кулаком до самого неба разъемом бетонных плит. Старик скрипнул полозьями, разворачиваясь, и поволок свои санки в эту дыру, в которой стояло синее небо, а в небе светили звезды. Под этой дырой лежал здоровен­ный снежный нанос, и старик волок в него сани едва дыша, с хрипом выдыхая из себя воздух и, ле­дяной, как колодезная вода, вдыхая его обратно. Старуха лежала кулем и не сползала с санок только благодаря спинке от детских санок их сына Ванеч­ки, который десять лет назад, 16 февраля, вот в та­кую же морозную ночь, как сегодня, был кем-то, не­известно кем (следователь не нашел преступника), зарезан в сердце. У подъезда 23-го дома по Панфи­ловцев, где они тогда все втроем жили. Теперь эти санки, на которых старик со старухой возили свое­го Ванечку в тот детский садик и назад из детского садика, в валенках, синем пальтишке и варежках с катышками, теперь эти саночки не давали упасть старухе. И старик кое-как втащил санки со старухой вверх по сугробу, а вниз отпустил их так, и они тихо поехали вниз, на белую, утоптанную дорожку парка 67-й районной больницы. Дальше дело пошло по­легче, бодро заскрипели полозья, и утоптанная, светлая от фонарей дорожка, прямо постеленная между сосен и елок, привела их ровно к дверям при­емного отделения, на которых мигала желтым све­том об этом табличка. «Приехали, Манечка...» — сказал старухе старик и, поправив на старухе до носа тряпочки, поплотней замотал ее шубами и по­целовал в холодные, улыбкой застывшие губы. И позвонил. Была там над дверью слева кнопочка. Звонок был не «дзыыыыыыыыыынь», как обыкно­венно бывает, а как будто колокола Всехсвятского звонили на службу. Он позвонил и, как хотел сде­лать, побежал прятаться за угол, а спрятавшись, стал смотреть, как заберут в приемное его старуху. Дверь открылась, из нее на ступеньки лестницы вы­лился свет. Санитар в белом, а может быть, санита- рочка (старик не разглядел, у него от холода со сле­зами давно застыли глаза), вышел на ступеньку, уви­дел старуху и окликнул кого-то в помощники из приемного отделения. Они скоро спустились по ступеням, за старухой, все в белом, и приподняли ее с санок под мышки, и хотя старик давно знал, что старуха у него умерла, ему показалось, что она даже как-то пошла сама, перебирая ногами над ступень­ками в воздухе. Дверь захлопнулась. Старик посто­ял за углом еще немножечко, думал забрать санки и пойти домой, но, только подойдя к ним, почув­ствовал, что очень устал и нет просто сил возвра­щаться обратно, к тому же ему никуда не хотелось уходить от своей старухи. И он опустился на Ваню­шины саночки у двери приемного отделения 67-й районной больницы и стал ждать, когда его заберут, может быть, тоже. Дверь открылась. Он видел, как за ним вышли. Ванюша и Манечка. Они были в бе­лом. В халатах? «Наверное, как-то устроились рабо­тать санитарами в эту 67-ю районную...» — подумал старик.

Живые и мертвые

Добредешь, бывает, до постели своей, день едва дожив, до подушки — и все вертишься, крутишься, мысли дня прожитого, ровно черти, пижаму обле­пят, уснуть не дают. То не так, говорят, то не эдак, и в прожитом дурак выходишь совсем, и в грядущем, обещают, выйдешь дурак. А однако же переход в мор- фейное заведение совершается вдруг, да так незамет­но, нечаянно, что и досчитать до ста не успе...

Вася Веточкин однажды так крепко уснул, что проспал не только звонок будильника, но и соб­ственную кончину. Он вскочил часу в девятом, по­нял, что не до завтрака, и, всклокоченный, на ходу застегивая пальто, побежал на работу.

На остановке троллейбусной в наши мерзкие но­ябрьские сумерки дела нет человеку до человека, и вообще-то нет, а в час пик особенно — и чем больше людей до тебя поездкой притиснется, тем твое меж них одиночество пуще. С тем никто не обратил вни­мания меж живых на умершего, все толкаются, он толкается, «Тройка» есть — проходи. И в метро полу­чилась та же история: турникеты — бездушная элек­троника, все равно ей, покойник ли, не покойник. Проезд оплатил — иди, живых не задерживай, в пе­реходах, на эскалаторах в часы пик у нас и без покой­ников тесно.

На работе у нас тоже в первые дни никто не за­метил, что с Васей что-то не так, что особенно по­казательно, в смысле том, что зря беспокоимся о внешнем виде своем, прячем друг от друга дыроч­ки на локтях, носки разные по ботинкам, ибо нет среди нас, кроме нас, того, кому есть до нас дело.

Но начальнику отделения вскоре пришло извеще­ние о кончине.

Как сказать человеку, что он умер уже? Что ему на службу ходить не положено? Неудобно! Это да­же хуже, чем увольнение, даже пенсии хуже... Но что делать? Сказали...

Очень трудно оказалось уговорить, убедить умер­шего, что он умер, признавать это Веточкин никак не хотел, говорил, что это ошибка. Ерунда какая-то, говорит, да и все. Пришлось вызывать полицию, скорую. С официальным же заключением вынуж­ден был он все же смириться. Словом, еле-еле угово­рили.

Утешали, конечно, все его как могли. Все же люди, всё понимаем. Суетились, объясняли, что ни­чего, что все еще как-нибудь... обойдется, наладит­ся, сбудется, все впереди... Врали, конечно, ну а что было делать? Человек нуждается в утешении перед фактом собственной смерти.

А теперь вот как-то жалко стало его, как-то совест­но на душе. Может, зря мы так это всё — хоть при мертвом, да живом человеке? Не пришло бы уве­домление, не сказал бы начальник нам, был бы жив теперь Вася, раз мы не знаем. Да и он никому не мешал, даже присутствие его в отделении вселя­ло надежду. Как он верить-то нам не хотел. «Да вы что, — говорит, — ребят? Да жив я! Живой!»

Может, зря мы его... убедили?

Привратница

Круглый год сидит, точно невидимка Уэллса Гер­берта, вся тряпьем заношенным обмотана, во гря­зи, в пыли, во зной, в снегу при вратах, сей куркуль смердящий в шерсти. «Дай Господь здоровьичка, милосердные, поможите, люди добрые», — говорит. Отвратительно ходить мимо этой падшей прижиз­ненно и не женщины, а не знаю... Хоть бы Бог при­брал ее наконец.

И всегда во храм мимо нее приходится, потому что воротца задние они запирают и никак, кроме мимо этого чудища, не пройти. А идешь, ворчит оно из-под спудов: «Дай-подай христарадушки, дай-подай...» Только глазья так в карман и уцеплют- ся: «Сколько дашь?» Рэкетирка. У них мафия там, сами знаете. У ней, может, доход таков, что не на­ша с вами скорбная пенсия: день и ночь не с небес — из рук трудовых монетками в шапку сыплется па­разитке...

Это сколько же, думаю, собирает с христиан гос­подня эта привратница, от кого по жалости, от кого по глупости, на спасение с всепрощением? И такие выводы странные, подсчитать...

Ведь выходит, сколько в день берет она себе чи­стой прибылью, столько ж веры и милосердия во всех нас.

Спасибо!

Два черта сидели как-то на остановке 59-го трол­лейбуса, с этой стороны «М.Видео». Одного звали Иван Иванович, а второго — Семен Семенович. И они там сидели, плевались на асфальт, грызли се­мечки и разговаривали о жизни. Жизнь им не нра­вилась. Обоим. Она их не устраивала абсолютно, и поэтому им было о чем поговорить.

Кстати, вы заметили, что жизнь вообще никогда никому не нравится и никого никогда не устраивает? Всем она не по нутру, у кого ни спроси. Поголовно. Мы спрашивали. Оказалось — точно: есть у жизни та­кое неприятное свойство. Иногда даже кажется, что несчастное человечество живет надеждой дотерпеть до Судного дня, а там уж отыграться на жизни как сле­дует за все ее неприятности. Расслабиться где-нибудь в райском саду под пальмами. Там же должны быть пальмы? Бананы? Киви-кокосы... Не знаем...

И ананасы?

Но ананасы-то точно должны там быть! Где-то же они есть?

На каком-нибудь морском побережье. На Майорке или, на худой конец, на Гавайях. Попивать пивко, плеваться семечками и вспоминать о жизни как о кошмарном сне.

Такое чувство, что у этих самых врат, к кото­рым человечество так упорно стремится, не стоят секьюрити, под стеной не прохаживаются поли­цейские с дубинками, не действуют навигаторы и детекторы и не работают спутниковые системы слежения. Точно человечество само по себе такие системы придумало. Точно до него никому это и в голову не приходило...

Как будто все уверены, что «там» как тут, только лучше: котлы давно не варят, вертела не вертятся, весы не взвешивают, а черти отлынивают от рабо­ты, как здесь, или берут взятки и отступные, как все нормальные черти. Словом, такое чувство, что здешнее недовольство тем, как все тут, «там» явля­ется билетом в Анталью. Или золотой картой Цен­трального банка.

Два наших черта знали, что все не так просто. Знали, что все это мираж — глупая человечина. Само­обман и иллюзия. В Аду работали оба, и там, честно говоря, тоже приходилось несладко. Конечно, по­теплее, чем на остановке 59-го троллейбуса, но так потеплее, что вспоминать об этом особенно не хо­телось.

Рай, разумеется, тоже был. Но о нем не хотелось тоже.

Семен Семенович, например, отработал на про­изводстве у котла и вертела без малого 224 года: без выходных и праздников, обедов и ужинов, без вся­ких там льгот и премиальных с авансами. Без на­дежд на пенсию с повышением. Словом, без всяких иллюзий. И вот вдруг получил внезапно команди­ровку на остановку 59-го троллейбуса, только благо­даря... неизвестно чему.

Он сидел испуганный, лысый, маленький, и все время вздрагивал и елозил — боялся, бедняга, что «там», внизу, разберутся и опять его заберут...

Иван Иванович был отвратительно молод и гнус­но самонадеян. Он появился на остановке не по жалкому командировочному листку, как бедняга Се­мен Семенович, а был тут в отпуске — на выходные. То есть совершенно за здорово живешь.

Иван Иванович был в отутюженной атласной ру­башке, стоявшей колом у ворота, и модно потертой кожанке с молниями наперерез. Он сидел, попирая левым коленом беднягу командировочного.

То был бабник и негодяй. Но с протекцией. Бу­тылочные глаза мерзавца отражали лимонные фо­нари. Из нагрудного кармана торчал уголок имен­ного магнитного пропуска в райский сад. В саду у Ивана Ивановича, без сомнения, кто-то был. Может быть, мать или старая тетушка. Может, не­веста. Точно так же и здесь, на земле, у Ивана Ива­новича еще оставались кое-какие связи: то­же какие-нибудь самоотверженные пожилые жен­щины, подававшие за него апелляции в небесную канцелярию. В Аду Иван Иванович работал не так давно, от силы годиков пять, на очень хорошей доходной должности. Проверял на входе списки осужденных и время от времени с аппетитом ра­ботал кирзовыми сапогами, кулаками, шокером и дубинкой.

У Семена Семеновича не было нигде никого. За все без малого 224 года работы с котлом и вертелом с ним не было такого случая, чтобы кто-то за него заступился, подал прошение или помянул добрым словом, что тоже важно. Его даже лихом не помина­ли. О нем все забыли, и сам он давно забыл те грехи, за которые вместо котла, как все нормальные люди, угодил в котловары.

И вот они сидели так, два этих совершенно разных человека, то есть, извините, черта, на этой троллей­бусной остановке, с этой стороны «М.Видео», образо­вывая собой довольно негармоничную пару, но кто ищет на троллейбусных остановках гармонии — тот ищет даром: не того и не там.

Они сидели так, найдя в разговоре точки сопри­косновения в общем недовольстве жизнью, а между тем судьба уже влачила к ним по жидкому октябрь­скому асфальту Олега Николаевича Пташкина. Со­вершенно счастливого человека.

Олег Николаевич не был лыс и не был дурак. Ра­бота у него была как у всех — дрянь-работа, зарплата как у всех — дрянь-зарплата, погода как у всех — дрянь-погода...

И тем не менее он был счастлив. Согласитесь, та­кие люди раздражают безмерно. Само существова­ние их меж нас вызывает озноб и колики. От их оп­тимизма просто зеленеет в глазах. Такое ощущение, что они все это нарочно. Просто из зависти так го­ворят. Чтобы всем вокруг сделалось окончательно тошно.

Спросишь его:

* Как дела?

А он говорит:

* Отлично!

Скажешь:

* А цены как поднялись — скоро хлеба будет не купить!

А он говорит:

* Не замечал.

Скажешь:

* А погода какая пакость!

А он:

* Сегодня теплее.

Скажешь:

* Холодрыга!

А он:

* Морозец!

Скажешь:

* Какое пекло!

А он:

* Ага, красота...

В общем, всему, что ни скажешь, он поперек. Что с ним ни делай, о чем ни спроси — все у него хоро­шо, и точка. Хоть утопись.

И вот ехал этот счастливый Олег Николаевич в 5р-м троллейбусе, и было ему выходить там, где сидели наши два черта, Семен Семенович и Иван Иванович. Один командировочный, а другой с лам­пасами.

Нормальный человек едет в троллейбусе и дума­ет, как ему все надоело. Нормальный человек едет

и думает: «Чтоб вас всех!», он едет и думает: «Ха­ри!» — а этот Олег Николаевич думает: «Красота!» Нормальный человек едет и думает: «Сволочи!» — а этот...

В общем, услышали черти счастливого человека еще за три остановки, как он подъехал. И, конечно, тот, что с лампасами, прямо на глазах преобразил­ся, залоснился, ущипнул командировочного за ко­ленку и говорит:

* Ты только глянь, Сема, какой типаж канделя- бит! Ну сейчас мы на нем отыграемся... Сейчас мы ему покажем: «Красота!» — то есть «красоту»...

А Семен Семенович говорит:

* Не трогай его, Вань, пусть себе...

А с лампасами говорит:

* Совсем ты нюх на своих котлах потерял, Семе­ныч, вот доложу на тебя кому следует, увидишь небо в алмазах.

А командировочный отвечает:

* Докладывай. Черт с тобой. Мне уже все равно. Не боюсь я. Мне, Ваня, что так, что сяк, а хуже уже не будет... Помянуть меня добром некому. Тут все равно не оставят, «туда» не возьмут, а у нас внизу без таких, как я, работать некому будет.

Сказал это Семен Семенович, неожиданно для себя сказал, хотел было вздрогнуть от страха, да плюнул. Плюнул, и стало ему так легко, как за все без малого 224 года еще не бывало. Распоясался, в общем.

И вот, слово за слово, хвост за хвост, рога за рога... Тот, что с лампасами, конечно, первый на ко­мандировочного полез, а командировочный взял и ответил, давно ему врезать хотелось тому, что с лампасами. А с лампасами вцепился командиро­вочному в плешивую шерсть. А командировочный кусался. А с лампасами матюгался. А командировоч­ный царапался и пищал...

И покатились оба черта под колеса 59-го трол­лейбуса, в самую осеннюю жижу.

А Олег Николаевич вышел из троллейбуса и, по­скользнувшись, едва не отправился следом за ними, но, слава тебе господи, схватился за фонарь и, сам не зная кому, сказал:

— Спасибо!